

Бунин, Иван. Неизвестные рассказы / И. Бунин. - Текст :
непосредственный // Слово (В мире книг). - 1989. - № 7. -
С. 63-65.

НЕИЗВЕСТНЫЕ РАССКАЗЫ

НА ИЗВОЗЧИКЕ

А. и Б., друзья Н., оба, как и хозяин, холостые, но уже давно не первой молодости, отлично пообедали у него на Песках, сидя в светлой, теплой столовой, посматривая на хорошенькую горничную в белом фартучке с кружевами, выпили кофе с коньяком и закурили, продолжая шутить над знакомыми, вспоминая редкую глупость одного, странности другого, скудость третьего, идиотское самомнение четвертого... Но хозяин вдруг взглянул на карманные часы и сделал испуганные глаза:

— Батюшки мои! Уже почти девять!

— А что такое? — спросил Б.

— Как что такое? А Карцев-то? Надо показаться хоть на первой панихиде...

И все, замаяв папиросы в пепельницах, встали и пошли в прихожую. Там Б. сказал хозяину:

— Где тут у вас, дорогой мой? Всегда забываю... А меж тем, после белого вина и нарзана...

— Все прямо, потом третья дверь налево...

На дворе стоял такой густой, морозный туман, что свет фонарей был в нем молочный и быстро проезжавшие мимо извозчики тотчас скрывались из глаз. Наконец, задержали двух и Н. спросил:

— Ну, кто с кем?

— Я отдельно, — сказал Б. — До свиданья, дорогие друзья, я не поеду. Я на Каменноостровский.

— Неловко!

— Нет, Бог с ними совсем, с этими панихидами. До свиданья, спасибо за прекрасно проведенный вечер...

И, помахав перчаткой, влез, большой, в золотых очках, в жеребчатый дохе, в промерзлые санки с собачьей полостью. Сильная маленькая финка мелкой рысью понеслась навстречу туманному и морозному ветру. И Б. с удовольствием стал думать:

— Да, Бог с ним совсем. Нынче к нему, через неделю к другому, через месяц к третьему... Милые петербургские зимы!

...Карцев, Карцев... Вот тебе и Карцев. Вот и опять нет на свете никакого Карцева. Ни в Петербурге, и нигде. Конечно, нигде, — что же дурачить-то себя! Побыл на свете тридцать восемь лет и опять исчез, опять не существует, как не существовал и до этих тридцати восьми лет. И как неожиданно! «Слышали? Очень тяжело болен Карцев. Крупозное воспаление легких». «Ну, не велика беда, это только старикам опасно». И вдруг нынче утром в «Новом Времени» черная рамка и крупными черными буквами в строку его имя, отчество и фамилия! Что за вздор? Что-то совершенно нелепое, неподходящее к нему, именно неподходящее! Ведь всего две недели тому назад я обедал у него и восхищался им: как всегда удивительно бодр, энергичен, живые, блестящие черные глаза и сам весь черен, сух, крепок, отлично одет, душисто пропитан дорогим табаком, — ужасно, в сущности, курил! — молодая красавица жена, чудесная квартира, успехи в делах... И вот, вдруг, вместо всего этого — «безвременная кончина» и какая-то «жизнь вечная, бесконечная», здравому человеку совершенно непостижимая... Ах, уж эти панихиды и отпевания! Какой обман душевного умиления и умственной рас-

слабленности! Тут все к вашим услугам: и какая-то будто бы высокая грусть, и какая-то будто бы небесная радость, и будто бы (...тая) вера в это «вечное, бесконечное», и эта одурачивающая поэтика надгробных слов и песнопений, а вышел на площадку лестницы покурить — и все пошло прахом: в воображении стоит только торчащий из-за края гроба и точно с маскарадной маски нос. И вот там сейчас как раз все это и происходит: и холод на площадках лестницы перед растворенной дверью в прихожую, полную людей; и толпа там, где он лежит в полусвете восковых свечей в руках «предстоящих», на столе под церковным покровом, с лампадкой у изголовья; и это умирительное пение; и конусообразные газетовые ризы; и развевающийся возле них ладан, и похудевшая, прозрачно-бледная и еще более похорошевшая от этой бледности, прозрачности и траурного платья жена, а в пустой столовой бессмысленно-успокоительное тиканье стенных часов: так было, так будет, так было, так будет...

— Ух, как несет этим чу(...)ым туманом! И охота ей жить в такой дали от всего! Верно, уж злится, что опаздываю, полужелит на тахте, поджав ноги, и со зла курит папиросу за папиросой — все они, худые и маленькие, злы... А уж он никогда не вздохнет больше этим туманом и не узнает, что нынче нового в вечерних газетах. Был — и исчез. Изумительно. Старо, как мир, и все-таки изумительно. Мудрые думы мои обо всем этом, конечно, пошлей пошлому, да что же иное можно тут думать! Да, исчез, а все во всем мире осталось по-прежнему, только без него, и будет без него во веки веков. И будет некогда такой же вечер без меня... Подумать только: без меня! И все-таки еду вот и чувствую себя как нельзя лучше... Зла, а как бывает умна, весела, насмешлива! И эта оливковая смуглость, и худенькие ключицы, и коротенькое, как у девочек, черное шелковое платьице...

— Да, без меня, без меня... Но без кого это — без меня? Кто это — я? То, что есть мое подлинное я, не есть, конечно, мое тело вот в этой дохе. Да и что такое мое тело? Я и тела своего не понимаю. И близко ли оно мне как следует, по настоящему? И насколько оно отлично от других тел? Кое-чем, конечно, отлично, но в общем-то, в общем? Так что же такое я? И чем оно, в свою очередь, отлично от других? И есть ли у меня подлинная власть над этим я? Ведь что во мне происходит всю жизнь? Какая разрозненная, разнообразная чепуха мыслей и чувств, живущая какой-то совершенно самостоятельной, своей собственной и совершенно непонятной мне жизнью! И потом: какая, вообще, раздвоенность проявлений этого моего я! Вот я говорю и то и другое с тем или другим человеком, но разве всем моим я? Все время есть во мне что-то совсем другое, что, наряду с тем, все время живет совсем по-другому, думает и чувствует другое. И как свободно думает и чувствует, меж тем как мое говорящее я ничуть не свободно и не может быть свободно! Вот, например, как мил и вежлив был я, даже почителен с горничной за обедом у Н. А сам, посматривая на нее, думал о том, что у нее там, под этим фартучком с кружевами... Да, мы свободны только в нашем внутреннем, невысказываемом, в тайных мыслях и чувствах... И уж как пользуемся этой свободой!

— А Елисей был еще открыт, и я проморгал его — можно было заехать и купить вишен, которые она так любит... А Карцев уже никогда ничего у него не купит, а я вот еду, живу и захочу — поверну сейчас извозчика, найду и куплю все, что угодно. Я еще живу — и что это значит? Это значит, что я в некий срок родился (нечто совершенно непостижимое и даже как будто совершенно невероятное!) и вот разделяю что-то, называемое жизнью, со всеми миллионами живущих сейчас на какой-то так называемой земле; и со всеми разделяю — в некий другой срок — смерти! И что же? Где-то там, за гробом, будто бы увижу все эти мириады ранее меня живших и умерших — может быть, даже Сократа, Юлия Цезаря, Наполеона, Пушкина! Господи, какой вздор! А ведь все-таки порой кажется, кажется, что все они, все эти мириады, и Сократ, и Пушкин где-то как-то существуют. Няньки вбили в голову? Но почему же у самих нянек-то это сидит в голове тысячи лет и будет сидеть до скончания века?

— Да, все одно и то же, одно и то же тысячи тысяч лет: какое-то «мироздание», то есть наше жалкое, младенческое представление о нем, восходы, закаты, круговращение земли, течение солнца, звезд, луны... Наши детства, юности, зрелые годы, радости, печали, любовь, ненависть, тщеславие — и

Рассказ «На извозчике» предположительно написан в октябре 1939 года, когда Бунин перечитал «Смерть Ивана Ильича». В этом рассказе он «вступает в прямую полемику с Толстым и его «Смертью Ивана Ильича» и противопоставляет толстовским вере в бессмертие и поиску смысла жизни леденящий холод полного безверия и разочарования современного человека».

Миниатюры 1930 года принадлежат к новому жанру, который Бунин ввел в те годы в русскую литературу. Все рассказы 1944 года относятся к периоду работы писателя над «Темными аллеями», однако ни один из них не был включен им в сборник.

Тексты даются в современной орфографии. Любопытно, что до самой смерти Бунин не только писал сам, своей рукой и по старой орфографии, но и продолжал пользоваться для перепечатки своих рукописей старенькой пишущей машинкой с «ятем». — Ред.